





Рассказы





Грамматика любви

Некто Ивлев ехал однажды в начале июня в дальний край своего уезда.

Тарантас с кривым пыльным верхом дал ему шурин, в имении которого он проводил лето. Тройку лошадей, мелких, но справных, с густыми сбитыми гривами, нанял он на деревне, у богатого мужика. Правил ими сын этого мужика, малый лет восемнадцати, тупой, хозяйственный. Он все о чем-то недовольно думал, был как будто чем-то обижен, не понимал шуток. И, убедившись, что с ним не разговоришься, Ивлев отдался той спокойной и бесцельной наблюдательности, которая так идет к ладу копыт и гроыханию бубенчиков.

Ехать сначала было приятно: теплый, тусклый день, хорошо накатанная дорога, в полях множество цветов и жаворонков; с хлебов, с невысоких сизых ржей, простирившихся насколько глаз хватит, дул сладкий ветерок, нес по их косякам цветочную пыль, местами дымил ею, и вдали от нее было даже туманно. Малый, в новом картузе и неуклюжем люстриновом пиджаке, сидел прямо; то, что лошади были всецело вверены ему и что он был наряжен, делало его особенно серьезным. А лошади кашляли и не спеша бежали, валек левой

пристяжки порою скреб по колесу, порою натягивался, и все время мелькала под ним белой сталью стертая подкова.

— К графу будем заезжать? — спросил малый, не оборачиваясь, когда впереди показалась деревня, замыкавшая горизонт своими лозинами и садом.

— А зачем? — сказал Ивлев.

Малый помолчал и, сбив кнутом прилипшего к лошади крупного овода, сумрачно ответил:

— Да чай пить...

— Не чай у тебя в голове, — сказал Ивлев. — Все лошадей жалеешь.

— Лошадь езды не боится, она корму боится, — ответил малый наставительно.

Ивлев поглядел кругом: погода поскучнела, со всех сторон натянуло линючих туч, и уже накрапывало — эти скромные деньки всегда оканчиваются окладными дождями... Старик, пахавший возле деревни, сказал, что дома одна молодая графиня, но все-таки заехали. Малый натянул на плечи армяк и, довольный тем, что лошади отдыхают, спокойно мок под дождем на козлах тарантаса, остановившегося среди грязного двора, возле каменного корыта, вросшего в землю, истыканную копытами скота. Он оглядывал свои сапоги, поправлял кнутовищем шлею на кореннике; а Ивлев сидел в темнеющей от дождя гостиной, болтал с графиней и ждал чая; уже пахло горячей лучиной, густо плыл мимо открытых окон зеленый дым самовара, который босая девка набивала на крыльце пучками ярко пылающих кумачным огнем щепок, обливая их керосином. Графиня была в широком розовом капоре, с открытой напудренной грудью; она курила, глубоко затягиваясь, часто поправляла волосы, до плечей обнажая свои тугие и круглые руки; затягиваясь и смеясь, она все сводила разговор на любовь и между прочим рассказывала про своего близкого соседа, помещика Хвоцинского, который, как знал Ивлев еще с детства, всю жизнь был помешан на любви к своей горничной Лушке, умершей в ранней молодости. «Ах, эта легендарная Лушка! — заметил Ивлев шутливо,

слегка сконфузьясь своего признания. — Оттого, что этот чудак обоготворил ее, всю жизнь посвятил сумасшедшим мечтам о ней, я в молодости был почти влюблен в нее, воображал, думая о ней бог знает что, хотя она, говорят, совсем нехороша была собой». — «Да? — сказала графиня, не слушая. — Он умер нынешней зимой. И Писарев, единственный, кого он иногда допускал к себе по старой дружбе, утверждает, что во всем остальном он нисколько не был помешан, и я вполне верю этому — просто он был не теперешним чета...» Наконец босая девка с необыкновенной осторожностью подала на старом серебряном подносе стакан крепкого сивого чая из прудовки и корзиночку с печеньем, засиженным мухами.

Когда поехали дальше, дождь разошелся уже по-настоящему. Пришлось поднять верх, закрыться каляным, ссохшимся фартуком, сидеть согнувшись. Громыхали глухарями лошади, по их темным и блестящим ляжкам бежали струйки, под колесами шуршали травы какого-то рубежа среди хлебов, где малый поехал в надежде сократить путь, под верхом собирался теплый ржаной дух, мешавшийся с запахом старого тарантаса... «Так вот оно что, Хвоцинский умер, — думал Ивлев. — Надо непременно заехать, хоть взглянуть на это опустевшее святилище таинственной Лушки... Но что за человек был этот Хвоцинский? Сумасшедший или просто какая-то ошеломленная, вся на одном сосредоточенная душа?» По рассказам стариков-помещиков, сверстников Хвоцинского, он когда-то слыл в уезде за редкого умницу. И вдруг свалилась на него эта любовь, эта Лушка, потом неожиданная смерть ее, — и все пошло прахом: он затворился в доме, в той комнате, где жила и умерла Лушка, и больше двадцати лет просидел на ее кровати — не только никуда не выезжал, а даже у себя в усадьбе не показывался никому, насквозь просидел матрац на Лушкиной кровати и Лушкиному влиянию приписывал буквально все, что совершалось в мире: гроза заходит — это Лушка насылает грому, объявлена война — значит, так Лушка решила, неурожай случился — не угодили мужики Лушке...

— Ты на Хвощинское, что ли, едешь? — крикнул Ивлев, высовываясь под дождь.

— На Хвощинское, — невнятно отозвался сквозь шум дождя малый, с обвисшего картуза которого текла вода. — На Писарев верх...

Такого пути Ивлев не знал. Места становились все беднее и глуше. Кончился рубеж, лошади пошли шагом и спустили покосившийся тарантас размытой колдобиной под горку; в какие-то еще не кошенные луга, зеленые скаты которых грустно выделялись на низких тучах. Потом дорога, то пропадая, то возобновляясь, стала переходить с одного бока на другой по днищам оврагов, по буеракам в ольховых кустах и верболозах... Была чья-то маленькая пасека, несколько колодок, стоявших на скате в высокой траве, краснеющей земляникой... Объехали какую-то старую плотину, потонувшую в крапиве, и давно высохший пруд — глубокую яругу, заросшую бурьяном выше человеческого роста... Пара черных куличков с плачем метнулась из них в дождливое небо... А на плотине, среди крапивы, мелкими бледно-розовыми цветочками цвел большой старый куст, то милое деревце, которое зовут «божьем деревом», — и вдруг Ивлев вспомнил места, вспомнил, что не раз ездил тут в молодости верхом...

— Говорят, она тут утопилась-то, — неожиданно сказал малый.

— Ты про любовницу Хвощинского, что ли? — спросил Ивлев. — Это неправда, она и не думала топиться.

— Нет, утопилась, — сказал малый. — Ну, только думается, он скорей всего от бедности от своей сошел с ума, а не от ней...

И, помолчав, грубо прибавил:

— А нам опять надо заезжать... в это, в Хвощино-то... Ишь как лошади-то уморились!

— Сделай милость, — сказал Ивлев.

На бугре, куда вела оловянная от дождевой воды дорога, на месте сведенного леса, среди мокрой, гниющей щепы и листвы, среди пней и молодой осинового поросли, горько

и свежо пахнувшей, одиноко стояла изба. Ни души не было кругом, — только овсянки, сидя под дождем на высоких цветах, звенели на весь редкий лес, поднимавшийся за избою, но, когда тройка, шлепая по грязи, поравнялась с ее порогом, откуда-то вырвалась целая орава громадных собак, черных, шоколадных, дымчатых, и с яростным лаем закипела во круг лошадей, взвиваясь к самым их мордам, на лету перевертываясь и прядая даже под верх тарантаса. В то же время и столь же неожиданно небо над тарантасом раскололось от оглушительного удара грома, малый с остервенением кинулся драть собак кнутом, и лошади вскачь понесли среди замелькавших перед глазами осиновых стволов...

За лесом уже видно было Хвощинское. Собаки отстали и сразу смолкли, деловито побежали назад, лес расступился, и впереди опять открылись поля. Вечерело, и тучи не то расходились, не то заходили теперь с трех сторон: слева — почти черная, с голубыми просветами, справа — седая, грохочущая непрерывным громом, а с запада, из-за хвощинской усадьбы, из-за косогоров над речной долиной, — мутно-синяя, в пыльных полосах дождя, сквозь которые розовели горы дальних облаков. Но над тарантасом дождь редел, и, приподнявшись, Ивлев, весь закиданный грязью, с удовольствием завалил назад отяжелевший верх и свободно вздохнул пахучей сыростью поля.

Он глядел на приближающуюся усадьбу, видел наконец то, о чем слышал так много, но по-прежнему казалось, что жила и умерла Лушка не двадцать лет тому назад, а чуть ли не во времена незапамятные. По долине терялся в куге след мелкой речки, над ней летала белая рыбалка. Дальше, на полугоре, лежали ряды сена, потемневшие от дождя; среди них, далеко друг от друга, раскидывались старые серебристые тополи. Дом, довольно большой, когда-то беленый, с блестящей мокрой крышей, стоял на совершенно голом месте. Не было кругом ни сада, ни построек, только два кирпичных столба на месте ворот да лопухи по канавам. Когда лошади вброд перешли речку и поднялись на гору, какая-то женщи-

на в летнем мужском пальто, с обвисшими карманами, гнала по лопухам индюшек. Фасад дома был необыкновенно скучен: окон в нем было мало, и все они были невелики, сидели в толстых стенах. Зато огромны были мрачные крыльца. С одного из них удивленно глядел на подъезжающих молодой человек в серой гимназической блузе, подпоясанной широким ремнем, черный, с красивыми глазами и очень милый, хотя лицо его было бледно и от веснушек пестро, как птичье яйцо.

Нужно было чем-нибудь объяснить свой заезд. Поднявшись на крыльцо и назвав себя, Ивлев сказал, что хочет посмотреть и, может быть, купить библиотеку, которая, как говорила графиня, осталась от покойного, и молодой человек, густо покраснев, тотчас повел его в дом. «Так вот это и есть сын знаменитой Лушки!» — подумал Ивлев, окидывая глазами все, что было на пути, и часто оглядываясь и говоря что попало, лишь бы лишний раз взглянуть на хозяина, который казался слишком моложав для своих лет. Тот отвечал поспешно, но односложно, путался, видимо, и от застенчивости, и от жадности; что он страшно обрадовался возможности продать книги и вообразил, что сбудет их недешево, сказало в первых же его словах, в той неловкой торопливости, с которой он заявил, что таких книг, как у него, ни за какие деньги нельзя достать. Через полутемные сени, где была настлана красная от сырости солома, он ввел Ивлева в большую переднюю.

— Тут вот и жил ваш батюшка? — спросил Ивлев, входя и снимая шляпу.

— Да, да, тут, — поспешил ответить молодой человек. — То есть, конечно, не тут... они ведь больше всего в спальне сидели... но, конечно, и тут бывали...

— Да, я знаю, он ведь был болен, — сказал Ивлев.

Молодой человек вспыхнул.

— То есть чем болен? — сказал он, и в голосе его послышались более мужественные ноты. — Это все сплетни, они умственно нисколько не были больны... Они только все читали

и никуда не выходили, вот и все... Да нет, вы, пожалуйста, не снимайте картуз, тут холодно, мы ведь не живем в этой половине...

Правда, в доме было гораздо холоднее, чем на воздухе. В неприветливой передней, оклеенной газетами, на подоконнике печального от туч окна стояла лубяная перепелиная клетка. По полу сам собою прыгал серый мешочек. Наклонившись, молодой человек поймал его и положил на лавку, и Ивлев понял, что в мешочке сидит перепел; затем вошли в зал. Эта комната, окнами на запад и север, занимала чуть ли не половину всего дома. В одно окно, на золоте расчищающейся за тучами зари, видна была столетняя, вся черная плакучая береза. Передний угол весь был занят божницей без стекол, уставленной и увешанной образами; среди них выделялся и величиной и древностью образ в серебряной ризе, и на нем, желтея воском, как мертвым телом, лежали венчальные свечи в бледно-зеленых бантах.

— Простите, пожалуйста, — начал было Ивлев, превозмогая стыд, — разве ваш батюшка...

— Нет, это так, — пробормотал молодой человек, мгновенно поняв его. — Они уже после ее смерти купили эти свечи... и даже обручальное кольцо всегда носили...

Мебель в зале была топорная. Зато в простенках стояли прекрасные горки, полные чайной посудой и узкими, высокими бокалами в золотых ободках. А пол весь был устлан сухими пчелами, которые щелкали под ногами. Пчелами была усыпана и гостиная, совершенно пустая. Пройдя ее и еще какую-то сумрачную комнату с лежанкой, молодой человек остановился возле низенькой двери и вынул из кармана брюк большой ключ. С трудом повернув его в ржавой замочной скважине, он распахнул дверь, что-то пробормотал, — и Ивлев увидел каморку в два окна; у одной стены ее стояла железная голая койка, у другой — два книжных шкапчика из карельской березы.

— Это и есть библиотека? — спросил Ивлев, подходя к одному из них.

И молодой человек, поспешив ответить утвердительно, помог ему растворить шкапчик и жадно стал следить за его руками.

Престранные книги составляли эту библиотеку! Раскрывал Ивлев толстые переплеты, отворачивал шершавую серую страницу и читал: «Заклятое урочище»... «Утренняя звезда и ночные демоны»... «Размышления о таинствах мироздания»... «Чудесное путешествие в волшебный край»... «Новейший сонник»... А руки все-таки слегка дрожали. Так вот чем питалась та одинокая душа, что навсегда затворилась от мира в этой каморке и еще так недавно ушла из нее... Но, может быть, она, эта душа, и впрямь не совсем была безумна? «Есть бытие, — вспомнил Ивлев стихи Баратынского, — есть бытие, но именем каким его назвать? Ни сон оно, ни бденье, — меж них оно, и в человеке им с безумием граничит разуменье...» Расчистило на западе, золото глядело оттуда из-за красивых лиловатых облаков и странно озаряло этот бедный приют любви, любви непонятной, в какое-то экстатическое житие превратившей целую человеческую жизнь, которой, может, надлежало быть самой обыденной жизнью, не случись какой-то загадочной в своем обаянии Лушки...

Взяв из-под койки скамеечку, Ивлев сел перед шкапом и вынул папиросы, незаметно оглядывая и запоминая комнату.

— Вы курите? — спросил он молодого человека, стоявшего над ним.

Тот опять покраснел.

— Курю, — пробормотал он и попытался улыбнуться. — То есть не то что курю, скорее балуюсь... А впрочем, позвольте, очень благодарен вам...

И, неловко взяв папиросу, закурил дрожащими руками, отошел к подоконнику и сел на него, загоразвивая желтый свет зари.

— А это что? — спросил Ивлев, наклоняясь к средней полке, на которой лежала только одна очень маленькая книжечка-

ка, похожая на молитвенник, и стояла шкатулка, углы которой были обделаны в серебро, потемневшее от времени.

— Это так.. В этой шкатулке ожерелье покойной матушки, — запнувшись, но стараясь говорить небрежно, ответил молодой человек.

— Можно взглянуть?

— Пожалуйста... хотя оно ведь очень простое... вам не может быть интересно...

И, открыв шкатулку, Ивлев увидел заношенный шнурок, снизу дешевеньких голубых шариков, похожих на каменные. И такое волнение овладело им при взгляде на эти шарики, некогда лежавшие на шее той, которой суждено было быть столь любимой и чей смутный образ уже не мог не быть прекрасным, что зарябило в глазах от сердцебиения. Насмотревшись, Ивлев осторожно поставил шкатулку на место; потом взялся за книжечку. Это была крохотная, прелестно изданная почти сто лет тому назад «Грамматика любви, или Искусство любить и быть взаимно любимым».

— Эту книжечку я, к сожалению, не могу продать, — с трудом проговорил молодой человек. — Она очень дорогая... они даже под подушку ее себе клали...

— Но, может быть, вы позволите хоть посмотреть ее? — сказал Ивлев.

— Пожалуйста, — прошептал молодой человек.

И, преодолевая неловкость, смутно томясь его пристальным взглядом, Ивлев стал медленно перелистывать «Грамматику любви». Она вся делилась на маленькие главы: «О красоте, о сердце, об уме, о знаках любовных, о нападении и защищении, о размолвке и примирении, о любви платонической»... Каждая глава состояла из коротеньких, изящных, порою очень тонких сентенций, и некоторые из них были деликатно отмечены пером, красными чернилами. «Любовь не есть простая эпизода в нашей жизни, — читал Ивлев. — Разум наш противоречит сердцу и не убеждает оно. — Женщины никогда не были так сильны, как когда они вооружаются слабостью. — Женщину мы обожаем за

то, что она владычествует над нашей мечтой идеальной. — Тщеславие выбирает, истинная любовь не выбирает. — Женщина прекрасная должна занимать вторую ступень; первая принадлежит женщине милой. Сия-то делается владычицей нашего сердца: прежде нежели мы отдадим о ней отчет сами себе, сердце наше делается невольником любви навеки...» Затем шло «изъяснение языка цветов», и опять кое-что было отмечено: «Дикий мак — печаль. Вересклед — твоя прелесть запечатлена в моем сердце. Могильница — сладостные воспоминания. Печальный гераний — меланхолия. Полынь — вечная горесть»... А на чистой страничке в самом конце было мелко, бисерно написано теми же красными чернилами четверостишие. Молодой человек вытянул шею, заглядывая в «Граматику любви», и сказал с деланой усмешкой:

— Это они сами сочинили...

Через полчаса Ивлев с облегчением простился с ним. Из всех книг он за дорогую цену купил только эту книжечку. Мутно-золотая заря блекла в облаках за полями, отсвечивала в лужах, мокро и зелено было в полях. Малый не спешил, но Ивлев не понукал его. Малый рассказывал, что та женщина, которая давеча гнала по лопухам индюшек, — жена дьякона, что молодой Хвощинский живет с нею. Ивлев не слушал. Он все думал о Лушке, о ее ожерелье, которое оставило в нем чувство сложное, похожее на то, какое испытал он когда-то в одном итальянском городке при взгляде на реликвии одной святой. «Вошла она навсегда в мою жизнь!» — подумал он. И, вынув из кармана «Граматику любви», медленно перечитал при свете зари стихи, написанные на ее последней странице.

Тебе сердца любивших скажут:
«В преданьях сладостных живи!»
И внукам, правнукам покажут
Сию Граматику Любви.

Москва, февраль, 1915

Роза Иерихона



В знак веры в жизнь вечную, в воскресение из мертвых, клали на Востоке в древности Розу Иерихона в гроба, в могилы.

Странно, что назвали розой да еще Розой Иерихона этот клубок сухих, колючих стеблей, подобный нашему перекасти-поле, эту пустынную жесткую поросль, встречающуюся только в каменистых песках ниже Мертвого моря, в безлюдных синайских предгорьях. Но есть предание, что назвал ее так сам преподобный Савва, избравший для своей обители страшную долину Огненную, нагую мертвую теснину в пустыне Иудейской. Символ воскресения, данный ему в виде дикого волчца, он украсил наиболее сладчайшим из ведомых ему земных сравнений.

Ибо он, этот волчек, воистину чудесен. Сорванный и унесенный странником за тысячи верст от своей родины, он годы может лежать сухим, серым, мертвым. Но, будучи положен в воду, тотчас начинает распускаться, давать мелкие листочки и розовый цвет. И бедное человеческое сердце радуется, утешается: нет в мире смерти, нет гибели тому, что было, чем жил когда-то! Нет разлук и потерь, доколе жива моя душа, моя Любовь, Память!

Так утешаюсь и я, воскресая в себе те светоносные древние страны, где некогда ступала и моя нога, те благословенные дни, когда на полудне стояло солнце моей жизни, когда, в цвете сил и надежд, рука об руку с той, кому Бог судил быть моей спутницей до гроба, совершал я свое первое дальнее странствие, брачное путешествие, бывшее вместе с тем и паломничеством во святую землю Господа нашего Иисуса Христа. В великом покое вековой тишины и забвения лежали перед нами ее Палестины — доли Галилеи, холмы иудей-

ские, соль и жупел Пятиградия. Но была весна, и на всех путях наших весело и мирно цвели все те же анемоны и маки, что цвели и при Рахили, красовались те же лилии полевые и пели те же птицы небесные, блаженной беззаботности которых учила евангельская притча...

Роза Иерихона. В живую воду сердца, в чистую влагу любви, печали и нежности погружаю я корни и стебли моего прошлого — и вот опять, опять дивно прозябает мой заветный знак. Отдались, неотвратимый час, когда иссякнет эта влага, оскудеет и иссохнет сердце — и уже навеки покроет прах забвения Розу моего Иерихона.

1924



Митина любовь

I

В Москве последний счастливый день Мити был девятого марта. Так, по крайней мере, казалось ему.

Они с Катей шли в двенадцатом часу утра вверх по Тверскому бульвару. Зима внезапно уступила весне, на солнце было почти жарко. Как будто правда прилетели жаворонки и принесли с собой тепло, радость. Все было мокро, все таяло, с домов капали капли, дворники скалывали лед с тротуаров, сбрасывали липкий снег с крыши, всюду было многолюдно, оживленно. Высокие облака расходились тонким белым дымом, сливаясь с влажно синееющим небом. Вдали с благостной задумчивостью высился Пушкин, сиял Страстной монастырь. Но лучше всего было то, что Катя, в этот день особенно хорошенькая, вся дышала простосердечием и близостью, часто с детской доверчивостью брала Митю под руку

и снизу заглядывала в лицо ему, счастливому даже как будто чуть-чуть высокомерно, шагавшему так широко, что она едва поспевала за ним.

Возле Пушкина она неожиданно сказала:

— Как ты смешно, с какой-то милой мальчишеской неловкостью растягиваешь свой большой рот, когда смеешься. Не обижайся, за эту-то улыбку я и люблю тебя. Да вот еще за твои византийские глаза...

Стараясь не улыбаться, пересиливая и тайное довольство и легкую обиду, Митя дружелюбно ответил, глядя на памятник, теперь уже высоко поднявшийся перед ними:

— Что до мальчишества, то в этом отношении мы, кажется, недалеко ушли друг от друга. А на византийца я похож так же, как ты на китайскую императрицу. Вы все просто помешались на этих Византиях, Возрождениях... Не понимаю я твоей матери!

— Что ж, ты бы на ее месте меня в терем запер? — спросила Катя.

— Не в терем, а просто на порог не пускал бы всю эту якобы артистическую богему, всех этих будущих знаменитостей из студий и консерваторий, из театральных школ, — ответил Митя, продолжая стараться быть спокойным и дружелюбно-небрежным. — Ты же сама мне говорила, что Буковецкий уже звал тебя ужинать в Стрельну, а Егоров предлагал лепить голую, в виде какой-то умирающей морской волны, и, конечно, страшно польщена такой честью.

— Я все равно даже ради тебя не откажусь от искусства, — сказала Катя. — Может быть, я и гадкая, как ты часто говоришь, — сказала она, хотя Митя никогда не говорил ей этого, — может, я испорченная, но бери меня такую, какая я есть. И не будем ссориться, перестань ты меня ревновать хоть нынче, в такой чудный день! Как ты не понимаешь, что ты для меня все-таки лучше всех, единственный? — негромко и настойчиво спросила она, уже с деланой обольстительностью заглядывая ему в глаза, и задумчиво, медлительно продекламировала:

Меж нами дремлющая тайна,
Душа душе дала кольцо...

Это последнее, эти стихи уже совсем больно задели Митю. Вообще, многое даже и в этот день было неприятно и больно. Неприятна была шутка насчет мальчишеской неловкости: подобные шутки он слышал от Кати уже не в первый раз, и они были не случайны, — Катя нередко проявляла себя то в том, то в другом более взрослой, чем он, нередко (и невольно, то есть вполне естественно) выказывала свое превосходство над ним, и он с болью воспринимал это как признак ее какой-то тайной порочной опытности. Неприятно было «все-таки» («ты все-таки для меня лучше всех») и то, что это было сказано почему-то внезапно пониженным голосом, особенно же неприятны были стихи, их манерное чтение. Однако даже стихи и это чтение, то есть то самое, что больше всего напоминало Мите среду, отнимавшую у него Катю, остро возбуждавшую его ненависть и ревность, он перенес сравнительно легко в этот счастливый день девятого марта, его последний счастливый день в Москве, как часто казалось ему потом.

В этот день, на возвратном пути с Кузнецкого моста, где Катя купила у Циммермана несколько вещей Скрябина, она между прочим заговорила о его, Митиной, маме и сказала, смеясь:

— Ты не можешь себе представить, как я заранее боюсь ее!

Почему-то ни разу за все время их любви не касались они вопроса о будущем, о том, чем их любовь кончится. И вот вдруг Катя заговорила о его маме и заговорила так, точно само собой подразумевалось, что мама — ее будущая свекровь.

II

Потом все шло как будто по-прежнему. Митя провожал Катю в студию Художественного театра, на концерты, на литературные вечера или сидел у нее на Кисловке и засиживался до двух часов ночи, пользуясь странной свободой, кото-